Сергей КЛЫЧКОВ

«ОТ ЗВЕЗДЫ СВЕЧУ ЗАТЕПЛЮ...»

В наше время возрос читательский интерес к незаслуженно забытым издателями и критиками талантливым писателям прошлого. Два сборника поэзии Сергея Клычкова, выпущенные издательствами «Художественная литература» и «Современник», сразу нашли своего читателя. Сейчас издательство «Современник» выпустило в свет антологию поэтов есенинской поры. Представлена здесь и поэзия Клычкова. В плане выпуска литературы издательства «Советский писатель» за 1987 год объявлен выпуск прозаических произведений писателя.

Историческая роль Октябрьской революции наглядно подтвердилась, кроме всего прочего, и тем импульсом, который она дала творческому становлению, культурному подъему самых отсталых масс дореволюционной России — крестьянства. Еще после первой русской революции в литературу вошли крупные, талантливые писатели «из мужиков». Они внесли в культуру свою тему, влили в нее новые силы. Есенин, Клюев, Клычков, Ширяевец, Орешин — все это были поэты первой величины. С прозой вошли в литературу Чапыгин, Касаткин, Вольнов, Новиков-Прибой, Подъячев, Низовой и др. Вслед за ними в литературе народилось новое поколение писателей из крестьян. Это были Акульшин, Ветров, Каргополов, Дьяконов, Тверяк и многие другие.

Однако талант поэта Клычкова заметно выделялся среди мощного потока новых имен и новых произведений, появлявшихся в журналах и альманахах тех лет. Тем заметнее был его переход к прозе.

В 1924 году популярный журнал «Книга о книгах» дважды заинтриговывал читателей сообщениями о том, что известный поэт работает над романом, изображающим жизнь деревни во время войны с Германией, называя новое произведение Клычкова поэмой в прозе.

В 1925 году критика заговорила о двух примечательных явлениях литературного года: два ярких поэта выступили с прозой. Это были «Шум времени» Мандельштама и «Сахарный немец» Клычкова. Прозу поэтов сравнивали, угадывали в ней отзвуки их поэтического мастерства, об этих произведениях спорили, их принимали и не принимали, но все сходились в одном: и «Сахарный немец» и «Шум времени» были явлениями культуры, событиями, откровениями талантов и художественных вкусов столь различных писателей.

Клычков продолжал писать лирику, выступал со своей поэзией в периодике, издавал поэтические книжки, но его творческие силы, художественная фантазия, его размышления о судьбах родины и народа, об истоках народной духовности, то есть то, что впоследствии вульгарно-социологическая критика иронически назовет «россеянством», — все это отныне фокусировалось прежде всего в его прозаических произведениях. Именно проза отличала Клычкова от творчества других крестьянских писателей, именно в ней выразилась самобытность его таланта. Не случайно еще Модест Ильич Чайковский, его старший друг и наставник, его добрый гений, предсказывал: «Пиши прозой — здесь твоя сила». В стихах о Ладе и Бове он видел только начальную точку роста писателя.

Характерно, что в конце двадцатых годов Вяч. Полонский отмечал: «...когда мы обращаемся к крестьянской художественной литературе, мы видим, что за истекшее десятилетие наиболее художественно яркие вещи были написаны именно Есениным и Клычковым». Он был уверен, что «не Деева-Хомяковского, а Клычкова упомянет будущий историк литературы...». Эту же мысль высказывал и А. В. Луначарский. Примерно в это же время Луначарский писал о том, что третий роман писателя «Князь мира» прочно войдет в нашу литературу. В 1926 году, после появления «Чертухинского балакиря». Пришвин, размышляя о ценностях и противоречиях романов Клычкова, писал Горькому: «...появление такой книги есть новое доказательство, что гений наш человеческий не может быть уничтожен...». В романах Клычкова Воронский и другие критики увидели продолжение лучших традиций классического наследия: на творчестве писателя сказалось влияние Гоголя, Лескова, Мельникова-Печерского, устного народного творчества. С. Городецкий, старый товарищ Клычкова, его литературный единомышленник еще со времен «Красы», разглядел в новых произведениях писателя «нестеровское», «китежское».

Творчество крестьянских писателей — это история литературы и история социальной мысли крестьянства в период двадцатых годов. Художественный образ непосредственно связан с идеологией, а потому в творчестве Клычкова был свой социальный смысл, своя социальная закономерность. Художественными образами он с яркостью показал внутренний лик «Руси уходящей», деревенской старины, еще не изжитой, еще цеплявшейся за жизнь. Отсюда шли и противоречия в мироощущении писателя. Высоко ценивший талант Клычкова Горький, отмечая крайности мировоззренческих позиций писателя, объяснял их тем, что тот именно «от миллионных масс крестьянства». Клычков писал об уродливой жизни крестьян дореволюционной России, но он не мог принять и новую культуру, того, как писал он, «чугунного черта», который выживал самобытную культуру крестьянства. Он обличал крепостничество, общину, зло писал о мироеде, о религии, но опасался и новой цивилизации. В ней он увидел приговор вековой культуре предков. Эти противоречия писателя верно подметил А. В. Луначарский.

В романах Клычкова из мохнатой кочки вылезал, вырастал леший Антютик, или, как звали его чертухинские бабы, Анчутка. Он, этот леший, мог сосватать деревенскому врачу, непутевому балакирю невесту. На страницах прозы писателя озоруют ведьмы, оборотни, как они это делали в гоголевской прозе. Там наивные бесы по ночам кусали баб. Там хитрый церковный бес гасил святые свечи. Мир там населяли бесы очажные и домовые, а на дне реальной подмосковной реки Дубны в дивном тереме жила русалочья царевна Дубравна. Трудно в его романах отличить быль от небыли, химеру, фантазию от материального мира, от реальности. Но слишком реально, слишком обнаженно, до боли остро звучали в этих романах-легендах «проклятые» вопросы русской литературы: тема богоборчества, тема неприятия войны и социального насилия над человеком, протест против угнетения его духа и плоти. Герои его романов были озабочены поиском красоты в мире и в человеке, социальной и духовной гармонии, затерянной дорожки к счастью народному.

«Ох, месяц ты, месяц, древний наш чародей!

От века полюбил ты русские просторы, куда можно сыпать и сыпать без устали свет, все равно тьма и хмарь, и хмурь, и болотные марева ползут от деревни к деревне, от села к селу, вставая и грудясь туманом на перелесках, мешая дороги, скрывая пути...» — так писал Клычков, и персонажи его романов настойчиво пытались различить в болотной российской хмари ту единственную, заветную и верную дорожку к счастливому Сорочьему счастью, где нет бед. Будет ли та дорожка новой мужичьей верой или борьбой, разбоем?

Мужики Клычкова мечтают об идеальном государстве, об ином социальном укладе, который никак не вписывался в государственную систему до- и пореформенной России, который был лишь в мечтах, в мужицких сказках. Сидят бывшие мужики и нынешние солдаты первой мировой в землянках, на нарах, скрутили самокрутки, зарядили свои трубки и слушают рассказ солдата Пенкина о царстве Зазнобы Прекрасной: нет там власти, и оттого люди живут богато. Золото тут не в чести — от него не радость, а верное горе. Мечтают герои Клычкова о счастливой разголубой стране, где нет лиходейства и злобы, нет темниц и острогов, где коней на войну не забирают, а седлают их только на пашню. Царя в той стране нет, а пастух выше министра. Нет там религии, а церкви служат молодым в первую брачную ночь. Налогов да поборов — ни полушки. Через побасенки в романах выражены идеалы крестьянина, его мечты о наивном мужицком социализме.

Чтобы восстановить утерянный лад, мужику надо восстановить и утраченную внутреннюю красоту. Потому в его романах появляется большой богатырь на белом коне. Горит у него на груди золотой щит, пышет огнем золотой шлем. Скачет он из Сорочьего царства, из стороны, где зверь и птица человека не боятся, где правит мудрая птица Сорока. Хоть и одет русский всадник, как богатырь, «а видать... самый заправский мужик: горшечная скобка, с кудрей капит розово-лампадное масло...». Без малого тридцать лет ездит он по белому свету и ищет красоту, ищет людей «в настоящем их виде», но попадаются ему все «колдуны да колдуньи и все такие кривые и мерзкие хари», что если не сотворить крест, «самого на бок своротит». Этот мотив будет звучать и в лирике Клычкова:

В душе тревога и обман
И скачущий из лучезарных стран
Конь без удила и стремян,
И светлый всадник под нулой...

С. Клычков задумал написать девятикнижие — девять романов под общим названием «Живот и смерть». Это должны были быть произведения о жизни русской деревни, начиная со времен крепостного права и кончая последними годами революции. Далеко не всё из задуманного удалось осуществить. Романы выходили по мере написания, с нарушением исторической хронологии: «Сахарный немец» («Последний Лель») рассказывал о событиях империалистической войны четырнадцатого года; персонажи «Чертухинского балакиря» действовали в последние десятилетия девятнадцатого века; «Князь мира» поведал о социальных и нравственных процессах общества в период отмены крепостного права.

Проза Клычкова написана богатым, сочным языком. Он удивительно образный, выразительный, колоритный.

Н. СОЛНЦЕВА.

КРЕЩЕНИЕ КНУТОМ

В Егорья выезжает в наши поля богатырь.

Выезжает он из-за поповой горы на долгогривом белом коне, с бурыми яблоками по бокам и на крупе.

В полности конь подходит по масти к оврагам за церковью и круговинам, простым грешным глазом его не заметишь, когда еще снега целиком не сбежали, а земля уж пролысинилась и лежит под вечер на иссиня-белом снегу, как бурые конские пятна.

Конь легонько коснется копытом земли и отворит ключи и потоки...

Дыхнет жаром и полымем в обе ноздри на дороги, обдаст туманом перелески и пустоша, и солнце в этот день поутру поднимется выше сразу на целую сажень, как будто боясь, чтобы из-за чертухинских овинов с поповой горы его не достала золоченая пика...

На деревне скотина еще с вечера начнет истошно реветь и бодать рогами ворота, а в лесу задымятся почки и сучья встряхнутся, загибая кверху концы — туман в этот день долго висит по полям, плотно приникши к земле, пока-то проскочет за туманом богатырь на коне, воскрешая к жизни лягушек в болоте, будя змей в кочках и пнях и прогоняя крупную рыбу из больших в малые реки, чтобы сбросить по половодью икру и на обратном пути угодить прямо в мережку... висит туман, пока огненная грива не заполощет на сильном скаку по голой опушке осинника, и конь не пронесет по ней седока в далекое царство, где небо сравнялось с землей и полевые цветы смешались с звездами в небе — тогда он тоже поднимается в небо, и на земле не останется уже ни снежинки.

К такому дню в старину всегда подгадывали реки, вздуваясь помалу и отопревая в краях, держали лед наготове, пока не отворит землю Егорий, тогда несли его, все на пути сокрушая, к далекому морю, стукая звонкими лбами льдину о льдину, подымая их на поворотах на ребра и ставя попом на зажорах, тогда выходили реки на бескрайние поемные луга и оставляли после себя мужичью сытость и плодородье... В такой день раньше выгоняли скотину, обходили стадо с иконой и вербой, пастуха допьяна поили водкой и пивом, а подпасков до вздутия животов кормили пятыми яйцами, сочниками, с которых прямо в рот капает масло, калабашками, алялюшками и гнелыми лепешками, к которым нельзя было прикоснуться рукой, так они распадались от сдобы, — подпаскам потом доедать хватало на месяц: нечего было жалеть в этот день, потому что, по деревенскому укладу, пастухи — первое дело...

Обычай этот хоть и сохранился теперь, но в нем как-то не стало прежнего смысла, потому что и реки теперь вскрываются как попало, и коров выгоняют не по Егорью, а по погоде, справляя Егорья больше уже по привычке да понаслышке от стариков.

В такой день Мишутку и окрестили кнутом.

Прогнали бабы коров, провели мужики лошадей под уздцы, чтобы не устраивать в выгоне давки, молебен поп Федот отслужил, обнесли стадо иконой, обмахали по ветру четверговой вербой и пасхальной водой потом окропили следы: коровьи жирные и широкие, лошадиные аккуратные, в которых уже курице напиться проступила вода, выжатая тяжкой поступью деревенских пахарей, овечьи, словно ребятишками ради забавы натыканные палочкой по обеим сторонам дороги, и неровные, детские, лезущие друг на дружку, неосознанные следки телят этого года.

Но ни верба, ни святая вода не остановили скотину перед древней исконной привычкой испробовать силу и ловкость, перескакнувши с выгона канаву, тут же броситься стремглав друг на друга, стараясь просунуть рога за задние ноги под вымя, ващая страшно оловянными от зимней полутьмы глазами, не вынесшими первой минуты весеннего высокого солнца, взреветь жутко и смешно, неловко взвиться на задние ноги и, бульknув в середине неперевареным пойлом, глубоко врезаться в землю рогами, не рассчитавши удар, — кочертит рогами на луговине, как на скрижали, только одним коровам понятные знаки...

Мужики, спустивши лошадей, уселись за мирщинку на бревна, изредка только покашивая на скотину.

Пастух Нил без картуза, с кнутом, перекинутым с плеча на плечо, в холщовой новой рубахе по самые колена, засел в середку к мужикам, сегодня он не гость и не хозяин, а гораздо больше того и другого: мирщинка у него под ногами!

Мужики по очереди подходят к нему и наполняют синий с красной каемкой стаканчик, из которого столько лет пьется мирщинка, — стоит этот стакашек у Семена Родионыча в посудном шкапу за хрустальным стеклом, и зря его, этот стакашек, мужики не тревожат! — подходят по череду к Нилу, и, кланясь ему, отпивает всякий свою меру, а Нил с каждым христосуется и после трех звонких поцелуев закидывает далеко голову и опрокидывает, не задерживая водки в зубах, прямиком:

— Важна!

... потом долго нюхает свежую корку, раздувая широкие ноздри, откуда торчит седая щетина и бисерится на солнце проступивший над мирщинкою пот.

В стороне от мужиков поп Федот, давно закончивши молебен, завистливо поглядывает на мужиков, облизывая незаметно толстые, как у опоенного мерина, отвисшие губы, черпает он ленивой ложкой, задевая небольшим ковшичком с язычком свяченую воду из пузатого ушата, кругом него громоздятся старухи в черных платках, наперебой подставляя отцу Федоту кружечки, кумочки, бутылки с готовой воронкой в горлышке, разбирая по домам егорьеву воду, помогающую от всех болезней как скотине, так равно и человеку...

— Ну чего вы, право, лезете прямо в уши? — оговаривал скептично поп Федот. — Чего спешка такая: святой дух, что ли, из воды выйдет, боитесь? Не выйдет, будет поровну всем!

И в то время еще были такие попы, которых подчас трудно было понять, что самто он в бога верит или не верит?

Или только смеется над дураками, брызгая в печку когда-нибудь в праздник, чтобы лучше выпекались хлебы, и на порог, чтобы черт в избу в этот по крайности день рог не совал?..

Таков был и Федот, иной раз такое отмочалит, в особенности когда клюнет и разговорится под веселую руку, что не выдумал бы и настоящий юнцунник... ну да ведь попы первые юнцунники были по большей части всегда!

Дьячок сзади попа Федота — Порфирий Прокофьевич укладал золоченую ризу и разную утварь после молебна — изредка взглянет на стадо и потом на мужиков неживыми глазами, подумает о чем-то минутку, а потом качнет сокрушенно головой с редким волоском и с плешью, похожей на дырку, в затылок и снова затянет гнусавым сбивчивым голосом положенный по чину в Егорья пасхальный напев:

— Истос вос... кре... си...

Поп Федот морщится на дьячка, а старухи смотрят ему в рот со сложенными руками у сердца и шевелят бесцветными засохшими губами, под цвет прошлогоднего сена...

А поодали ото всех сельские ребятишки, какие поменьше, как галчата после выводка, расселись в рядок на заборе, отделяющем пар от ярового, и на них то и дело затуманенными глазами оглядывается из стада Мишутка.

«Теперь не подразнишь: эн у меня какой кнут, и не ради какого баловства, а по делу!..»

По всему полю рассыпалось стадо до леса, который склонился томно на берег Дубны и словно вот-вот тоже стронется с места, сорвется и побежит, махая голыми сучьями, похожими без листьев на коровьи, задранные кверху хвосты.

Меж коров бегают с причитаньями бабы и с визгом и сдавленным в горле смешком сельские девки, тормошатся на бегу бабы, пригнутые за поясе подолы, и издали заманчиво сияют снежной белизной девичьи ляжки и икры из-под цветных сарафанов, завороченных на головы, как от дождя, чтобы со скотиной не попортить оборок.

Мишутка только поспевай между ними, в одном месте отхлещет какую-нибудь бодастую телку, а в стороне, гляди, уже сытая яловица с неподтесанным рогом подмяла соперницу в единоборстве, и та припала на передние ноги, как будто просит пощады, но она пощады не знает и остервенело тычет ей острый рог между ребер, и из-под него с конца хлыщет кровь, еще пуще алея на солнце, и хозяйка возле нее заходится криком, машет мужу рукой и, пока тот бежит, сорвавшись с бревен и махнув на мирщинку, застывает перед ником рану, откуда лезут и шевелятся вывороченные из самой середки утробы кишки.

— А где же моя подмога? —спросил захмелевший Нил, когда из бутылки выплюнул на землю последнюю каплю, по примете: пить не в последки, а в руках у Нила остался стыдливый стаканчик. — Надо бы кликнуть!

— Ну, Нил Матвеич, хорош... хорош у тебя помощник!

Мужичьи пятерни потянулись на стадо, по которому бегал Мишутка, откидывая, как большой, далеко руками.

— Мишутк-е-эй—крикнул Нил во все горло, держа стакан в кулаке.

Мишутка от этого крика остановился как вкопанный, еще не понимая, откуда кричат, а когда разглядел, что набольший машет, подбежал, запыхавшись и отирая пот полою рубашки.

— Ну, Мишутка... пей... не всерьез, а в шутку!

И сунул Мишутке стакашек.

— Дядюшка Нил... дух больно тяжелый!

— Пей, сукин сын, — топнул Нил ногой, — пей да не морщись!

—Дяденька Нил!.. С души от духа воротит!

Нил дернул Мишутку за вихор, от испуга выскочил у него из дрожавших ручонок стаканчик на землю, и драгоценная влага задаром пропала в траве...

Хорошие пьяницы в старину говорили, что на местах, где нечаянно проливается водка, потом вырастают такие цветы, но в наше время питухи проверяли, и у них выходило вроде как плешь!

Может, самое главное неча попортить оборок.

Мишутка только поспевай между ними, в одном месте отхлещет какую-нибудь бодастую телку, а в стороне, гляди, уже сытая яловица с неподтесанным рогом подмя-

— Не, православные: пастуха тут не выйдет!

— Полно, Нил Матвеич... ну, как же пареньку... можно ли так?..

— Да это вы мне не пойте... взросли сами на этом... а промежду прочим: надо Мишутку крестить!

Порфирий Прокофьич издали поглядел на Мишутку, когда ему Нил подал стакашек, и тут же надолго устарился в землю, оборвавши нерви и бессмысленно перебирая золотой нарукавник.

— Что ж, обычая неча перечить... обычай надо почтить! — ответили степенно мужики. — Вон и батюшка еще не ушел!

— Да нет, уж... мы без попа обойдемся... у нас свой канун... а ну-ка, Мишутка, крестись!

Мишутка обрадовался, что не заругали за стаканчик, и истово перекрестился.

— Читай, сукин сын, богородицу!

Мишутка вытянул ручки, как он это делал перед Порфирием Прокофьевичем, когда тот наставлял его по церковности, и звонким голоском начал чуть нараспев:

— Богородице... дево, радуйся...

... а Нил снял с себя кнут, свернутый в круг, и надел его с головы на Мишутку, медленно во время молитвы пропуская под ноги...

— А ну, отче наш!— еще строже приказал Нил Мишутке и снова надел ему на голову пастуший венец.

— Отче на-аш, — затянул Мишутка, — ижици на небеси...

— Ишь ведь, — дивятся мужики на Мишутку, — сколько колотьбы одной принял, а память, словно веревка!

— А ведь и в самом деле на крылос годился, — хмуро сказал Семен Родионыч, но ему никто не поддакнул: какой тут крылос, когда кнутом на вечные времена в пастухи благословляют?..

— Ай да сукин сын... ловко знаешь молитвы, — похвалил Нил Мишутку, — сукин сын! — потом уж узнал Мишутка, что у Нила это было ласковое слово, вроде как поговорка. — А ну... читай, — Нил задумался и чуть шатнулся с кнутом над головой Мишутки, читай... взбранной воеводе!

Но «взбранной воево-де» Мишутка не знал, да и сам Нил сказал больше спьяна, так, куражился над сиротой, потому что думал на это лето в подпаски пристроить сынишку, а не приплось. Мишутка быстро заморгал глазами, собираясь вот-вот заплакать, но по своей крепости в слезе удержался, и Нил уже безо всякой молитвы пошел его в кнут и сам три раза истово перекрестился:

— Ну, теперь, Мишуха, скидавай штаны!

Мужики заготовили, не зная еще, чем кончится нилов обычай, а ребятня обступила Мишонку, пока он скидал офточки:

— А ну-у-ка, пастух, беги во весь дух!

— Пошли вы тут, — крикнул Нил на мальчишек и замахнулся кнутом, — а и в самом деле, Мишутка, беги!

Должно быть, ребята и надоумили пьяного Нила, потому что сам-то он просто хотел его отпороть на глазах у мужиков и тем дело кончить.

Мишутка сразу сорвался с места и побежал: к чему было бегать вокруг стада, где же догадаться, а если бы и так, то едва ли бы заартачился, а терпеливо бы принял и перенес, потому что кориться большим привык с колыбели.

Нил не спеша развернул длинный кнут на конце с волосяной хлопушней, подошел к буланой кобыле, по старости дремавшей тут же за канавкой и безучастно смотревшей на толкотню среди молодых лошадей, схватился за гриву и крыгнул на спину!

Кнут прошелся по бокам, кобыла вздынула, было, на дыбы, но, подпертая крепкими коленками Нила, часто засеменила ногами, догоняя Мишутку.

Скоро Мишутку больно хлестнуло.

Он схватился за поясок, по которому пришелся удар, но, оглянувшись на бегу назад, увидел страшного Нила на буланой кобыле, вскрикнул больше с испуга, чем от боли, и побежал еще пуще, вытянувши вперед длинную шею и крепко у сердца прижав кулачки.

Вот-вот уж скоро мосток, на котором стоят мужики и довольно гогочут, вот уж скоро Мишутка добежит до ребят, которые машут ему кулаками и что-то кричат, вот еще немного, абы только не выдали ноги, и он будет у места.

Но в это время облепил Мишутку колючий огонь, обжег ему плечико и сразу отдался в середку.

Кубарем Мишутка покатился, наскочивши на кочку, совсем почти уже добежав до дороги, в глазах сразу все завертелось, избенки из Чертухина стронулись с места и побежали вместе со стадом, и в стаде коровы начали кружиться, доставая рогами хвосты.

Не разглядишь уж меж ними ни девок, ни баб, и только обратной дорогой, объезжая стадо на буланой кобыле, мчится Нил в холщовой рубахе, облаком взвод ещовой ветер у него на спине, отчего он стал еще шире и страшнее, и видно, как тащится за ним большой кнут, длинной змеей извиваясь по кочкам и вымоинам на лугувине...

Надо бы действительно в шутку, легонько бы, так, радости обычая только, мужики так и подумали сначала, а тут вышло всерьез: отхлестнул Нил шульни мальчонке, отчего, может, потом, у барина и не было детей, когда он женился на рысачихиной дочке...

— Нил, а Нил... ты бы полегче! — робко потазали мужики пастуха, когда он оборотил назад и спрыгнул с кобылы.

— Нича-во! — протянул он, оглядывая Мишутку и скаля мелкие редкие зубы; к Мишутке даже ребята в испуге и неожиданности боялись подойти поближе узнать: жив он али мертвый?— Нича-во: встанет — тот же будет!

— Да все же как будто... того, — жались мужики.

— Так уж полагается на первака: иначе проку не будет!

— О положеньи и речи нет никакой! А мальчонка-то, смотри, глаза закатил!

— Кнут — он безвредное дело!

В это время Мишутка поднялся с земли и, держа ручки в коленках, осмотрел всех воспаленными глазами, снова приник и неслышно заплакал...

— Ишь голову поднял из травы, как туруханский какой... Мишутк... эй, не стягну, небось: не валяйся! Ничаво, мужики: лучше стадо понимать будет!

— Оно конешно: кнут не мешает!

Мужики помотали башками и поплелись по домам: больше в стаде нечего делать, мирщинка допита, животина обнюхалась и уже мирно ходит по полю, выгрызая мелкую травку на высоких местах, и вот уже входит в село шагистый поп Федод, за ним тянется старух, девок и баб целый хоровод, впереди веселой гурьбой бегут ребятишки, а позади всех трусит Порфирий Прокофьич с горбом, и под мышкой у него, выбившись полой из небольшого узла, весело и ярко горит на солнце праздничная федотова риза — уж не кусок ли парчового кафтана с широких егорьевых плеч?..

Отрывок из главы «Даровой пастух» романа «Князь мира» печатается по изданию: Сергей Клычков. «Князь мира», «Круг». — М., 1928.

Гравюра Н. КАЛИТЫ.

ПЕСЕНКА О СЧАСТЬЕ

У моей подруги
на очах лучи,
На плечах — узоры
голубой парчи...
У моей подруги
облака — наряд,
На груди подружки
жемчуга горят...
Я играю в гусли,
сад мой стерегу,
Ах, мой сад не в поле,
сад мой не в лугу.
Кто на свете счастлив?
счастлив, верно, я,
В тайный сад выходит
горница моя!..
Счастлив я и в горе,
глядя в тайный сад:
В нем зари-подруги
янтари висят,
Ходят звезды-думы,
грусть-туман плывет,
В том тумане сердце-
соловей поет...

Из сборника Сергея Клычкова «В гостях у журавлей».— М., «Современник», 1985.

280